

НА ПУТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРАВЛЕНИЮ

Первый биограф Ивана Грозного, князь Андрей Михайлович Курбский, писал, что истинное отношение царя к своим советникам проявилось на третий день после взятия Казани, когда, разгневавшись за что-то на одного из вельмож, Иван произнес: «Ныне оборонил мя Бог от вас!» Однако это сообщение Курбского не подтверждается какими-либо другими источниками, и в сочинениях царя нет упоминания об этом эпизоде. Очевидно, что если у Ивана IV и вырвались в тот момент какие-то гневные слова, то он не придавал им значения и забыл о них. По мнению же самого царя, в истории его отношений с наставниками и советниками переломное значение принадлежало событиям, имевшим место во время тяжелой болезни царя в марте 1553 года.

Алексей Адашев, продолжая во второй половине 50-х годов текст «Летописца начала царства», ограничился лишь осторожным намеком на то, что произошло, сопроводив сообщение об «огневой болезни» царя цитатой из Евангелия: «Поразисте пастыря, разыдутся овца». Лишь много позже, в 70-х годах XVI века, при редактировании официальной летописи в нее был включен подробный рассказ о случившемся. Включению этого рассказа в летопись придавалось особое значение. Не случайно авторы обращали внимание читателя на то, что именно с болезни царя начались те бедствия, которые постигли Россию в последующие годы: «оттоле бысть вражда велия государю с князем Владимиром Андреевичем (двоюродным братом царя, удельным старицким князем. — *Б.Ф.*), а в боярех смута и мятеж, а царству почала быти во всем скудость». Несомненно, это было сделано по желанию самого Ивана IV. Встречающиеся в рассказе ссылки на то, что рассказали царю после его болезни Иван Петрович Федоров и Лев Андреевич Салтыков, позволяют полагать, что и само конкретное

содержание рассказа исходило от царя, отражая его восприятие происходивших событий.

Помимо этого подробного рассказа мы располагаем и другим, более кратким сообщением о происшедшем, исходившим также от царя. В первом послании Курбскому царь писал, что во время его болезни бояре во главе с Сильвестром и Адашевым «хотеша воцарити... князя Володимера, младенца же нашего, еже от Бога данного нам, хотеша подобно Ироду погубити».

Так что же произошло в марте 1553 года?

Чтобы рассказ об этом был понятнее, следует отметить, что для русского двора середины XVI века, как и для любого другого европейского двора того времени, была характерна постоянная борьба отдельных групп знати за степень участия во власти и за влияние на государя. В условиях, когда монарх уверенно выступал в традиционной роли верховного арбитра в отношениях между этими группами, такая борьба протекала в скрытой форме, но когда монарх (по тем или иным причинам) не мог выполнять эту роль, трения вырывались наружу. Это и произошло во время царской болезни.

Царь заболел 1 марта 1553 года. Болезнь была очень тяжелой: царь, по выражению летописи, «мало и людей знаяше», то есть часто находился в беспамятстве. Не исключали, что он скоро умрет. Поэтому было принято решение составить завешание и привести бояр, а также князя Владимира Андреевича, ближайшего родственника царя, к присяге на верность его наследнику.

Этим наследником был первенец Ивана IV, царевич Дмитрий, родившийся лишь за несколько месяцев до болезни отца, в октябре 1552 года, во время возвращения царя из казанского похода. Было ясно, что пройдет немало лет, прежде чем он сможет сам заняться государственными делами. Возникал вопрос: кто же будет править государством от его имени? В этих условиях трения между разными группировками бояр не замедлили проявиться.

Принесение присяги кругом наиболее близких советников царя — членов «ближней думы» — бояр и думных дворян — Алексея Адашева и Игнатия Вешнякова прошло без каких-либо трудностей. Но когда на следующий день попытались привести к присяге остальных членов Боярской думы, то эта попытка встретила сопротивление. Отец царского любимца, окольный Федор Григорьевич Адашев, заявил: «Ведает Бог да ты, государь, тебе, государь, и сыну твоему царевичу Дмитрию крест целуем, а Захарьиным нам, Данилу з бранию, не служивати; сын твой государь наш, еще в пеленицах, а владеть нами Захарьиным, Данилу з братьею, а мы уж от бояр до твоего возрасту беды видели многия». Когда после этого ближние бояре, уже присягнувшие наследнику, стали настаивать на присяге, то другие бояре «с ними почали браниться жестоко, а говоречи им, что они хотят сами владети, а они им служити и их владения не хотят. И бысть

меж бояр брань велия и крик и шум велик, и слова многие бранная». Очевидно, что при этом проявилось скрытое соперничество группировок знати, и в частности недовольство чрезмерным возвышением Захарьиных, родственников царицы Анастасии.

Принадлежавшие к одному из наиболее знатных московских боярских родов родственники царицы имели, конечно, право на занятие важных государственных должностей, но их стремительное возвышение в конце 40-х — начале 50-х годов было связано с женитьбой царя 3 февраля 1547 года на дочери Романа Юрьевича Захарьина, Анастасии. Особенно быстро вознесся брат царицы Данила Романович. Накануне царской свадьбы он стал окольничим, уже в марте 1547 года занял один из важнейших государственных постов — пост дворецкого Большого Дворца, а весной 1548 года получил боярский сан. После взятия Казани он, дополнительно к своей важной должности, получил и пост казанского дворецкого. При ведении переговоров о перемирии с Великим княжеством Литовским в 1552—1553 годах литовские паны-рада (члены совета при великом князе Литовском, аналогичного русской Боярской думе) обращались к Даниле Романовичу как к одному из первых вельмож государства. Возвышен был и двоюродный брат Данилы Романовича Василий Михайлович Юрьев. Летом 1547 года он получил важный пост тверского дворецкого, а не позднее начала 1549 года также стал боярином. Влияние на царя, которым пользовались Захарьины, стало вызывать недовольство еще до того, как царь заболел. В «Истории о великом князе Московском» Курбский отметил, что после взятия Казани, когда бояре стали советовать царю остаться до весны в завоеванном городе, он не принял их предложения, «а послушал совета шуры своих», предлагавших царю скорее вернуться в Москву. Среди «ближних бояр», первыми присягавших на верность наследнику, Захарьины и их родственники преобладали (боярин Иван Васильевич Шереметев принадлежал к тому же роду, что и Захарьины, а боярин Михаил Яковлевич Морозов и Василий Михайлович Юрьев были женаты на родных сестрах), поэтому на этом первом этапе присяга и прошла без затруднений. Таким образом, перспектива сосредоточения власти в руках Захарьиных в случае смерти царя представлялась вполне реальной.

По существу, требования, выразителем которых стал несколько неожиданно не кто-либо из «первых бояр», а сравнительно недавно вошедший в состав Думы незнатный Федор Адашев, сводились к созданию регентского совета, в котором были бы равномерно представлены разные группировки знати. Это могло предотвратить новые «смуты», характерные для времени «боярского правления», когда та или иная группа знати хотела сосредоточить в своих руках всю полноту власти. В конце концов, после резких споров в присутствии большого государя, бояре принесли присягу его наследнику.

Параллельно со спорами в Боярской думе происходили другие

события, представлявшие для судьбы царской семьи гораздо большую опасность. Так как младший брат царя Юрий был глухонемым и явно неспособным к управлению государственными делами, то в случае смерти малолетнего царевича законным наследником трона должен был стать его двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий. В предшествующие годы его отношения с царем были вполне доброжелательными. В случаях длительного пребывания царя за пределами Москвы двоюродный брат неоднократно заменял его при решении государственных дел. Вместе с Иваном IV Владимир Андреевич участвовал в 1552 году в походе на Казань.

Однако когда царь заболел, Владимир Андреевич и его мать, княгиня Евфросиния, «сбрали своих детей боярских (то есть военных вассалов с территории своего Старицкого княжества. — Б.Ф.) да учили им давати жалование, денги». «Ближние» бояре выразили возмущение тем, что князь «жалует людей» во время царской болезни. Тогда старицкий князь и его мать «почали на бояр негодовати и кручинитися», а бояре перестали допускать старицкого князя к больному царю. Все это еще не свидетельствовало о наличии какого-то «заговора». Старицкий князь, конечно, знал, что сразу после смерти Василия III Боярская дума арестовала и заключила в тюрьму его дядю, брата великого князя Юрия, опасаясь его притязаний на трон в малолетство наследника, и мог поэтому принимать меры по обеспечению своей безопасности с помощью военных слуг. Однако когда после присяги бояр было предложено принести присягу и князю Владимиру Андреевичу, возникли трудности: князь первоначально отказался это сделать (хотя был затем принужден «ближними» боярами), а его мать отказалась приложить к «целовальной грамоте» своего сына его печать. К ней пришлось трижды присылать представителей царя. При этом княгиня не скрывала, что не считает действительными обязательства, данные под давлением («что то, де, за целование, коли невольное»), и «много речей бранных говорила». Все это позволяло подозревать, что Владимир Андреевич не хотел принесением присяги затруднить себе возможность занять при благоприятных обстоятельствах русский трон.

Позднее из разговоров с некоторыми из приближенных царь выяснил, что ряд бояр — представителей княжеских родов, недовольных усилением влияния Захарьиных, высказывались в том смысле, что «служить» князю Владимиру Андреевичу гораздо лучше, чем подчиняться Захарьиным. Царю также стало известно, что один из его ближних бояр, князь Давыд Федорович Палецкий, близкий родственник царской семьи (на его дочери был женат брат царя Юрий), несмотря на принесенную присягу, вел тайные переговоры со старицким князем и его матерью. Он обещал «служить» Владимиру Андреевичу и не препятствовать его возведению на трон, если он выделит Юрию удел, который назначил сыну Василий III в своем завеща-

нии. В сложившейся ситуации некоторые из приближенных царя предпочли сказатьсь больными и принесли присягу лишь через несколько дней, когда стало ясно, что царь поправляется.

Таким образом, из самого рассказа, записанного под диктовку царя, достаточно ясно следует, что никакого заговора в пользу Владимира Андреевича не было. Дело не пошло дальше самых общих разговоров, да и далеко не все бояре, выступавшие против присяги, были сторонниками старицкого князя. Из рассказа также никак не следует, что Сильвестр и Адашев стояли во главе недовольных бояр. Напротив, очевидно, что никакой роли в событиях они не сыграли. Алексей Адашев принес присягу вместе с членами «ближней думы», и в дальнейшем о каких-либо его действиях ничего не известно. Сильвестр же пытался убедить бояр допустить Владимира Андреевича к больному царю («почто вы ко государю князя Володимера не пускаете, брат вас, бояр, государю доброхотнее»), но попытка эта не имела успеха. Да это и понятно. Влияние и Адашева, думного дворянина, и простого священника Сильвестра было связано с их близостью к царю. Если бы даже они и хотели, они не могли повлиять на бояр в ситуации, когда решался вопрос о том, что будет происходить после смерти их благодетеля.

Нет никаких сомнений в том, что происшедшие события оказали сильное влияние на молодого монарха, коль скоро он нашел нужным внести их подробное описание в официальную историю своего царствования. Гораздо труднее ответить на вопрос, каково было это влияние и к каким выводам пришел в то время царь, размышляя над происшедшим. На первый взгляд, сделать это нетрудно, опираясь на содержание речей, которые, согласно этому рассказу, царь произносил перед боярами, отказывавшимися приносить присягу.

По словам царя, если бояре отказываются приносить присягу, то, следовательно, у них «иной государь есть». Тем самым они изменили своей присяге и погубили свои души. Затем, обращаясь к верным боярам, царь призывал их: «Не дайте бояром сына моего извести некоторыми обычаи, побегите с ним в чужую землю, где Бог наставит». Одновременно царь обратился и к Захарьиным: «А вы Захарьины чего испужалися? али чаєте бояре вас пощадят? вы от бояр первые мертвецы будете и вы б за сына за моего и за его мать умерли, а жены моей на поругание боярам не дали!»

После этого «государского жестокого» слова бояре «поустрашились» и принесли присягу. В этих высказываниях царь выступает как человек, непримиримо враждебный боярам и сам уверенный в их враждебности, вплоть до убеждения, что борьба с ними может привести к гибели его сторонников и бегству его наследника в «чужую землю». Однако, как справедливо отметил один из глубоких знатоков эпохи С. Б. Веселовский, эти слова царя находятся в глубоком противоречии со всем, что известно о его отношениях со своим окруже-

нием во второй половине 50-х годов XVI века. Перед нами, очевидно, вымыслы, возникшие в сознании царя много позже, в эпоху острых конфликтов эпохи опричнины, когда у него, действительно, возникали опасения, что ему самому придется бежать в чужую землю. В то время события весны 1553 года стали восприниматься царем как один из примеров боярской «крамолы». Царю стало казаться, что уже тогда ему это было ясно, и в историю своего царствования он нашел нужным внести поучительный рассказ о том, как он усмирил такую крамолу своим «жестоким словом». Именно так, по мнению Ивана второй половины царствования, должен был поступать в подобной ситуации «истинный государь». В действительности же роль тяжело больного монарха во всем происходившем во время его болезни была гораздо более скромной.

Можно, однако, понять, почему эта довольно банальная история из сферы дворцовых интриг, к тому же не имевшая никаких серьезных последствий, произвела сильное впечатление на молодого правителя.

Он всерьез поверил советам своих наставников и друга, что «кротостью» и «правдой» сумеет обеспечить себе верность подданных, добиться их сплочения вокруг трона. Следуя этим советам, он не скупился на милостивые слова и щедрые пожалования, и вот, стоило царю заболеть, обнаружился целый клубок интриг в его близком окружении. Хотя в то время, как представляется, у царя еще не было оснований для каких-то личных претензий к Сильвестру и Адашеву, их советы с этого времени царь перестал воспринимать как истину в последней инстанции.

Первой реакцией Ивана IV на происшедшее стало желание на время удалиться подальше от своего пропитанного интригами окружения. Именно поэтому царь так упорно настаивал на своем намерении отправиться сразу по выздоровлении на богомолье в Кириллов монастырь. По свидетельству Курбского, когда царь по пути на богомолье остановился в Троице-Сергиевом монастыре, проживавший там на покое Максим Грек советовал ему не ездить в далекое путешествие, а лучше позаботиться о семьях воинов, погибших при взятии Казани, но царь настоял на своем. Проникнуть в переживания царя во время его пребывания в Троице-Сергиевом монастыре позволяет текст повести о взятии Казани, написанной троицким келарем Адрианом Ангеловым до возвращения царя из его путешествия на север. В введении к «Повести» автор писал, что о многом из того, что произошло под Казанью, он «слышати сподобихся от самодержца и благочестивого царя». По-видимому, под впечатлением этих рассказов троицкий келарь внес в свою повесть пространный текст о взаимоотношениях царя и его подданных. В его начальной части читаются слова, обычные для памятников 50-х годов, об обязанностях правителя спасти своих подданных, «иже от зол, находящих на ны и всякия нужда их исполняти». Но далее текст продолжается словами

царя об обязанностях подданных: им подобает «имети страх мой на себе и во всем послушливым быти» и «страх и трепет имети на себе, яко от Бога ми власть над ними и царьство приемше, а не от человека». Утверждение, что подданные в ответ на заботу о них правителя должны беспрекословно подчиняться его власти, установленной самим Богом, показывает, в каком направлении шли размышления царя о себе и своих подданных после событий, очевидцем и участником которых он был.

На пути в Кириллов, в Николо-Песношском монастыре, у Ивана IV состоялась встреча, которая, по мнению Курбского, оказала на царя сильное влияние. Здесь царь встретился с одним из советников покойного отца Вассианом Топорковым. Племянник одного из наиболее почитаемых в середине XVI века деятелей русской церкви, Иосифа Волоцкого, он получил от великого князя коломенскую кафедру в том самом 1525 году, когда был послан в заточение за отрицание монастырского землевладения Максим Грек. В 1542 году, после захвата власти Шуйскими, Вассиан был сведен с кафедры и доживал свои дни на покое в Песношском монастыре. Встреча, возможно, была и случайной, но совсем не случайным представляется вопрос, который задал царь, посетив старца в его келье: «Како бы могл добре царствовати и великих сильных своих в поспешестве имети?» На что старец ответил: «И аще хошеш самодержец быти, ни держи собе советника ни единого мудрейшого себя». Курбский был уверен, что именно после этого разговора царь превратился в противника своих вельмож и начал истреблять их. Обыгрывая фамильное прозвище епископа, он писал, что тот, толкнув царя к таким мыслям, стал не малым топорком, а большой секирой, отсекавшей головы многих благородных и славных мужей «Великой Руси».

Как представляется, Курбский явно преувеличивал. Разговор произвел на царя впечатление, он обсуждал его с людьми из своего окружения, откуда о нем и узнал Курбский. Однако в обширном литературном наследии Ивана Грозного имя Вассиана Топоркова не упоминается ни разу, да и нигде в сочинениях царя не встречаем утверждения, что правитель должен быть обязательно умнее своих советников. Показательно, однако, что у старого советника своего отца царь спрашивал, как добиться повиновения знати. Очевидно, под влиянием событий, происшедших во время его болезни, царь начал думать, что для достижения этой цели недостаточно тех советов, которые ему давали Максим Грек и Сильвестр.

Приехав, наконец, в Кириллов, царь оставил жену с маленьким сыном в обители и поехал далее — в «Ферапонтов монастырь и по пустыням». В далеких уединенных северных обителях царь находил себе отдых в мире, далеком от придворного быта с его двоедушием и интригами. Стремление проводить время в стенах обители постепенно становилось важной чертой его образа жизни. Однако в этом ска-

зывалось не только желание на время уйти от мирских забот. Общежитийный монастырь, в котором у монахов отсутствовали особое имущество и особые занятия, в котором весь распорядок жизни подчинялся нормам устава, определяемым суровой волей настоятеля, чем дольше, тем все больше становился для царя идеальным образцом организации человеческого сообщества. Как увидим далее, в годы опричнины Иван IV прямо обратился к такому образцу при создании своего особого опричного двора.

В июне 1553 года царь вернулся в Москву. На обратном пути произошло трагическое событие: в реке Шексне утонул малолетний наследник трона царевич Дмитрий — кормилица уронила ребенка в воду, когда Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы вели ее по сходням на судно. То, что Юрьевы сопровождали царя в поездке, ясно говорит, что они продолжали пользоваться его расположением.

В Москве к царю обратились митрополит и другие церковные власти с сообщением о появлении в Москве ереси и о том, что необходимо провести розыск «откуда сие зло изливается».

Середина XVI века была временем резкого оживления всей русской общественной жизни. Проводились реформы, охватывавшие многие области жизни не только светского общества, но и церкви. Самые разные люди выступали с проектами преобразований — и ученый книжник Ермолай Еразм, и выезджий литовский шляхтич Иван Пересветов. Такая общая ситуация благоприятствовала и оживлению религиозных исканий, тем более что в Москве к середине XVI века появились сторонники Реформации. Протестантизм стал к этому времени легальным вероисповеданием у западных соседей России — в Великом княжестве Литовском и Польше, и количество его сторонников среди мещанства и шляхты все время увеличивалось. К середине 50-х годов в Москве возник немногочисленный кружок дворян, которые после бесед с приезжими поляками — «аптекарем Матюшкой» (Матисом Ляхом) и Андрюшкой Сутеевым подпали под влияние протестантских учений. Об этом довольно ясно говорит перечень обвинений в адрес участников кружка, который мы находим в официальных документах того времени. Еретики отождествляли церковь с собранием «верных», отвергали почитание икон, отрицали ценность священного предания, признавая для себя авторитетными лишь тексты Нового Завета, которым они давали толкования, отличные от тех, какие давала этим текстам церковь. Все это соответствовало наиболее общим положениям целого ряда существовавших в то время протестантских учений. В перечне этих обвинений вызывает известные сомнения лишь утверждение, настойчиво повторяющееся и в грамотах, и в официальной летописи, что еретики считали Иисуса Христа не равным Богу Отцу. Дело в том, что в лоне самой польско-литовской Реформации подобное учение (так называемое арианство)

сложилось лишь десятилетием позже — к середине 60-х годов XVI века. Получалось, что русские еретики заметно опередили своих учителей.

По-видимому, участники кружка не отдавали себе отчета в том, насколько их взгляды расходятся с учением православной церкви. Об этом определенно говорит поведение одного из членов кружка, сына боярского Матвея Башкина, который стал активно излагать все то новое, что он узнал, своему духовному отцу, священнику Благовещенского собора Симеону, а позднее принес ему текст Апостола, где воском были размечены места, вызывавшие у него разные недоуменные вопросы. Вероятно, не случайно один из современников называл увлечения Матвея Башкина «ребячеством».

Как бы то ни было, при содействии Сильвестра текст Апостола, размеченный воском, попал в руки самого царя, и после этого разбор всего дела шел при его непосредственном участии. Царь распорядился посадить Башкина в подклеть на царском дворе и одновременно велел его «распросити осифовским старцом Герасиму Ленкову да Филофею Полеву». Эта запись свидетельствует об установлении к этому времени у молодого царя близких доверительных отношений с братией любимой обители своего отца — Иосифо-Волоколамским монастырем. Основатель обители и ее первый игумен Иосиф Санин вошел в историю русской церкви как беспощадный обличитель «еретиков» — «жидовствующих», против которых была направлена его книга «Просветитель». Сохранилась относящаяся к 50-м годам XVI века запись известного книжника того времени сарского епископа (а до того — игумена Иосифова монастыря) Нифонта Кормилицына, что он не может передать в Иосифов монастырь принадлежащую ему рукопись «Просветителя», так как «митрополит ея емлет и чтет, да и царь князь великий ея имал и чел». Неудивительно, что читавший «Просветитель» царь так энергично занялся розыском о новых появившихся в Москве еретиках. Дело не ограничилось с его стороны лишь распоряжением об организации следствия. Не менее активное участие царь принял и в деятельности церковного собора, созванного осенью 1553 года для осуждения еретиков. На соборе, как отмечалось в соборной грамоте, царь сам стал еретиков «испытывати премудре», они ж, «видевше благочестиваго царя крепко поборающа о благочестии и убояшась». Матвей Башкин испытал сильное психическое потрясение, сопровождавшееся расстройством речи: по сообщению летописи, он «язык извеса непотребно и нестройная глаголаша на многи часы». Покаявшись в своих прегрешениях, он начал своих «единомысленников перед царем на соборе с очей на очи обличать».

Участников кружка послали в заточение в различные монастыри. Однако этим дело не закончилось, и на собор для расследования стали вызывать людей, которые были знакомы Башкину и одобрительно отзывались об отдельных его высказываниях. До начала следствия

ни царь, ни Сильвестр не знали Башкина (Сильвестр только слышал, что «слава про него недобрая носится»), но среди обвиненных в общении с еретиками заволжских старцев был человек, хорошо известный им обоим, — бывший игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий.

Характерной чертой этого незаурядного человека было то, что глубокая духовная связь с православной традицией сочеталась у него с рядом совершенно оригинальных взглядов. Оригинальные черты его личности проявились уже в молодости, когда, будучи иноком Псково-Печерского монастыря, он отправился в пограничный ливонский городок Нейгаузен «говорити, как хрестыанский закон с римским законом», то есть спорить о вере с латинскими богословами. Позднее Артемий жил в заволжских обителях, где суровый образ жизни и прекрасное знание писаний святых отцов снискали ему общее уважение. Вероятно, во время одной из поездок царя по заволжским обителям и состоялось его знакомство с Артемием. Позднее между ними завязалась переписка. В одном из своих посланий царю Артемий упоминает, что ранее (очевидно, по желанию царя) он писал ему «на собор, изъявляя разум мой». Очевидно, речь шла о Стоглавом соборе, обсуждавшем в начале 1551 года вопрос о реформах церковной жизни. Царь вспомнил об Артемии летом 1551 года, когда освободилось место настоятеля самой почитаемой русской обители Троице-Сергиева монастыря. Если в ранней молодости царю imponировала строгость в соблюдении норм монастырского устава троицкими монахами, то к середине XVI века его мнение о монастырских порядках изменилось в невыгодную для обители сторону. Много позже в своем послании в Кирилло-Белозерский монастырь царь с осуждением вспоминал о том, как живший в Троице на покое митрополит Иоасаф «с крылошаны пировал», а также о ссорах между ним и другими троицкими монахами. Суровый аскет из Заволжья должен был прекратить все эти нарушения. По приезду в Москву Артемий остановился в Чудове монастыре и беседовал с Сильвестром. Отзыв царского наставника оказался благоприятным, и так Артемий стал настоятелем Троице-Сергиева монастыря.

По свидетельству Курбского, царь его «зело любяше и многжды беседоваше, поучаяся от него». Какие вопросы обсуждали между собой царь и заволжский пустынный, каков был характер отношений между ними, позволяет судить содержание двух посланий, отправленных Артемием царю в ответ на его обращение «написать» «о Божиих заповедях и отеческих преданиях и обычаях человеческих».

Артемий призывал царя способствовать устранению разных обычаев, которые появились «на пакость житию от невидения божественных писаний», и устраивать жизнь самого царя и всего общества, «отскочивше от своих вьлеи и обычая и человеческих преданий и на-

зирания», по «евангелию Божию». Чтобы царь понял, как это сделать, Артемий рекомендовал ему читать беседы на евангелия Иоанна Златоуста и Книгу о постничестве Василия Великого. Читать их он рекомендовал многократно и не торопясь («множицею, не мимошествене»). Хотя ты, обращался он к царю, «измлада Священная писания умеешь», но учиться не вредно и царю, учатся, чтобы достичь совершенства, даже ангелы. «Не срамляйся неведением, — наставлял он царственного корреспондента, — со всяцем тщанием въпроси ведущаго. Подобаеет убо учиться без стыдения, яко же учити без зависти. Никто же не научився может что разумети».

Эти слова Артемия бросают отблеск и на характер его корреспондента — молодого царя начала 50-х годов, юноши, сознающего свое несовершенство, который хочет учиться и готов искать совета у опытного наставника.

Желая «подвигнути царскую душу на испытание разума божественных писаний», Артемий резко порицал тех, кто говорил: «Не чти много книг, да не во ересь впадеши». Судя по посланиям Артемия, и в окружении царя были люди, которые утверждали, что многие «божественная писания прочитающе... в различные ереси уклонишась». На самом деле, объяснял Артемий, люди впадают в грех от своего «неразумия и зломудрия». Нельзя же порицать изображения на фресках и иконах оттого, что люди, неумеренно почитая их, впадают в идолопоклонство.

К 1554 году многое изменилось. Артемий не смог найти общего языка с троицкой братией и, пробыв игуменом полгода, удалился в пустыню, как говорили о нем, «чтоб от Бога не погинути душею и Христовы заповеди совершити, от своею рукою питатися». Эти последние слова говорят о том, что Артемий ушел, порицая подобно другим «заволжским старцам» устройство большого монастыря, обладающего и управляющего большими землями, где, по его убеждению, нельзя было спастись, живя по заповедям Христа.

Уход Артемия вызвал недовольство царя, а в 1554 году он был вызван на собор в числе лиц, обвиненных в сочувствии еретическим взглядам Матвея Башкина. Можно определенно утверждать, что в отношении Артемия эти обвинения были явно необоснованными. Веским доказательством могут служить факты его позднейшей жизни в Великом княжестве Литовском, где он упорно отстаивал учение и обрядность православной церкви в полемике с протестантами. Да и составители соборной грамоты по делу Артемия должны были признать, что когда его главный обвинитель, игумен Ферапонтова монастыря Нектарий, сослался на свидетелей, которые могли бы подтвердить его обвинения, «Нектарьевы свидетели в Нектарьевы речи не говорили». Обвинения Артемия в том, что он «латын хвалит» или «говорит хулу о крестном знамении», были очевидной клеветой. Но сре-

ди обвинений были и такие, которые соответствовали истинным взглядам Артемия.

Содержание его сохранившихся посланий ясно говорит о том, что он желал сам жить по заветам Евангелия и хотел, чтобы так же жил и окружающий мир. В послании к царю, как бы отвечая воображаемым оппонентам, он писал: «И будет, господарь, як же мнози глаголют, еже не мощно ныне жити по Писанию, вину да укажут нам, чего деля не мощно». В другом послании он возмущался словами некоего епископа, говорившего: «Не съидется де ныне по еуангелию жити: род ныне слаб».

Внимательное чтение Евангелия, желание проникнуть в самую суть морального учения Христа привели Артемия к твердому и последовательному убеждению, что церковь не должна прибегать к насилию в спорах с инакомыслящими.

Наиболее ясное и яркое выражение эти взгляды получили в посланиях, написанных Артемием в более поздние годы в Литве. В одном из посланий этого времени он писал: «Неподобно есть христианом убивати еретичествующих, яко же творять ненаучении, но паче кротостию наказывати противящаяся и молитися о них, да даст им Бог покаяние в разум истины възникнути». Тот, кто хочет взять в руки оружие и убивать еретиков, должен знать, что «несть сие христианская премудрости, но мира сего распеншего Господа». Христос сам «бием не биаше и укаряем не укоряше». Обращаясь к читателям как бы от имени самого Христа, Артемий вкладывает ему в уста следующие слова: «Научитесь от мене, яко кроток есть и смирен сердцем, а не суров и безчеловечен, и съгрешающая исправите духом кротости, а не ранами и убийством, и темницами и юзами».

Будучи, как и многие «заволжские старцы», противником того, чтобы монастыри — объединения людей, отрекшихся от мира, владели селами с крестьянами и монахи жили за счет их труда, Артемий отвергал применение насилия в делах, касающихся веры, и не желал того, чтобы государство «нужением и властью» отбирало у монастырей их владения. Он явно предпочитал, чтобы монахи сами приняли решение «жити своим рукодельем, а у мирских не просити».

Эти убеждения Артемия находились безусловно в явном противоречии со всей традицией средневековой христианской церкви (не только православной).

Такие взгляды, хотя в более смягченной и сглаженной форме, Артемий излагал и в одном из своих посланий царю: надо не преследовать «невежествующих и заблудших, но во кротости наказывати». Нет ничего страшного, если кто «от неведения о чем усумнится или слово просто речет, хотя истину навькнути». Никто ведь не рождается с готовым разумом, а во время обучения всегда возможны ошибки. Поэтому и следует «разумети многое недостижение ума нашего и на въскоре кручинитися, но... правостию и кро-

тостию Христовую и с рассмотрением вся творити». Когда Артемий писал в 1551 году эти слова, они звучали в унисон с теми наставлениями, которые давали молодому монарху Сильвестр и Максим Грек.

Но в 1554 году бывший троицкий игумен предстал перед церковным судом, и утверждение, что Артемий «еретиков не проклинает» и выступает против их казней, было одним из главных обвинений в его адрес. Митрополит Макарий, председательствовавший на соборе, спрашивал, знает ли Артемий, что «прежние еретики не каялись, и святители их проклинали, а цари их осуждали и заточали и казнem предавали». Артемий, не вступая в прямой спор с митрополитом, сумел, однако, ясно и четко определить свою позицию. Имея в виду, что в самом начале подготовки собора против еретиков его предполагали включить в число судей, Артемий сказал: «По меня посылали еретиков судить и мне так еретиков не судить, что казни предать». Дело закончилось осуждением Артемия в конце января 1554 года на «вечное заточение» в Соловецком монастыре.

На обстоятельствах, связанных с созывом собора против еретиков, следовало остановиться так подробно не только потому, что это первое известное нам судебное разбирательство, на всех этапах которого молодой царь активно участвовал. Именно с созывом собора и его деятельностью следует, вероятно, связывать окончательное превращение Ивана IV в того защитника православия и чистоты православного учения, каким он выступает в свидетельствах последующих лет.

Для формирования личности Ивана IV как правителя эти события имели, как представляется, и более общее значение. Максим Грек и Сильвестр, говоря Ивану IV в своих наставлениях о необходимости для православного монарха руководствоваться в отношениях с подданными «кротостию» и «правдой», представлялись ему голосом церкви и христианской культурной традиции. Однако то, чему царь был участником и свидетелем, наглядно убеждало его в том, что сама церковь в отношениях с членами общины верующих далеко не всегда обращается к языку «кротости», но, напротив, может проявить бескомпромиссную суровость, в том числе и по отношению к тем, кто проповедовал «кротость» по отношению к еретикам. Полученный в то время опыт нашел свое отражение позднее на страницах Первого послания Курбскому, когда царь наставительно поучал: «И во отрешшихся от мира наказания, аще и не смертию, но зело тяжкая наказания, колми же паче в царствие подобает наказанию злодейственным человеком быти».

Как представляется, под воздействием этих событий Иван IV стал все больше задумываться над вопросом о роли и значении карательных функций власти. Не случайно в образе правителя, как он рисуется на страницах составленного во второй половине 50-х годов про-

должения «Летописца начала царства», появляются совсем новые оттенки. Правда, и здесь монарх прославляется за то, что он «и милостив, и щедр, и долготерпелив к согрешающим» и что он «всех любит, всех жалует... ни единого же забвена видети от своего жалования хошет», но говорится и о другом: что «царьская власть дана от Бога есть на отмщение злым, а на похваление благым», что царь по всему государству «праведных миловать веляше, а злых наказывати с запрещением веляше». Подробный рассказ о реформах середины 50-х годов, связанных с введением в действие «Уложения о службе», заканчивался в официальной летописи сообщением, что после этого численность войска сильно увеличилась, так как ранее «многие бе крышася (скрывались. — Б.Ф.), от службы изываше», но царь заставил служить и «ленивых».

Таким образом, теперь в официальном летописании подчеркивается обязанность царя не только «жаловать добрых», но и понуждать к труду «ленивых» и наказывать «злых».

Наставления Сильвестра явно утрачивали прежнюю силу для его воспитанника. Материалы соборов на еретиков содержат важные сведения на этот счет. В ноябре 1553 года глава Посольского приказа дьяк Иван Михайлович Висковатый подал митрополиту «писание», в котором обращал внимание на необычный для русской традиционной иконописи характер изображений и сюжетов на иконах, которые были написаны для Благовещенского собора в Кремле вместо иконостаса, сгоревшего во время пожара 1547 года. Так как эти новые иконы писались под надзором Сильвестра, то обвинения по поводу введения подозрительных, неизвестных православной традиции новшеств были направлены именно по адресу царского наставника. Впрочем, Висковатый этого и не скрывал и указывал в этой связи на подозрительную близость Сильвестра к осужденным за ересь и подозреваемым в ереси лицам. Увидев эти новые изображения, писал Висковатый митрополиту, он «ужасеся велми» и заподозрил во всем этом ересь, тем более что «Башкин с Ортемьем советовал, а Ортемей с Селиверстом». Так как надзор за работами по созданию новых икон Сильвестр осуществлял по поручению царя и митрополита, а содержание новых изображений не заключало в себе ничего еретического, то неудивительно, что собор во главе с митрополитом Макарием взял Сильвестра под защиту, наложив на дьяка трехлетнюю епитимью. Установление такого срока епитимьи в решении собора мотивировалось тем, что Висковатый по собственной инициативе, не осведомившись о мнении церковных властей, в течение трех лет выражал сомнения по поводу новых икон. Если после трехлетних разговоров осенью 1553 года Висковатый рискнул предложить свои сомнения на рассмотрение церковного собора, то, очевидно, он сделал это потому, что отношения царя с его наставниками после царской болезни стали явно не такими близкими, как раньше. Из материалов собора,

обсуждавшего «писание» Висковатого, видно, что книгами, которыми дьяк воспользовался, его снабдили один из главных представителей клана Захарьиных — Василий Михайлович Юрьев и его свояк Михаил Яковлевич Морозов. Причастность этих бояр к выступлениям дьяка заставляет думать, что в событиях, разыгравшихся во время царской болезни, Сильвестр принял участие не на стороне Захарьиных.

Наиболее важное значение для перемен в отношениях царя со своими советниками имели события середины 50-х годов XVI века.

В июле 1554 года в городе Торопце местные дети боярские задержали ехавшего в Литву князя Никиту Семеновича Лобанова Ростовского. Тот признался, что хотел сообщить королю о намерении отъехать к нему боярина князя Семена Ростовского (одного из тех бояр, кто во время царской болезни вел переговоры о возможной передаче трона старицкому князю), «а с ним братия его и племянники». Князь Семен был арестован. Расследованием дела ввиду его чрезвычайной важности занялись «ближние бояре». Действительно, князья Ростовские принадлежали к самой элите дворянского сословия — группе знатных родов потомков Рюрика, которым принадлежало преимущественное право на занятие высших военных и административных должностей в Русском государстве. И вот группа представителей одного из таких родов во главе с боярином — членом высшего государственного совета — Боярской думы, захотела «отъехать» во враждебное России государство — Великое княжество Литовское.

О результатах следствия нам известно из сдержанного рассказа официальной летописи 50-х годов XVI века, а также из приписок, сделанных к тексту этого рассказа при редактировании летописи в 70-х годах XVI века, когда «дело» князя Семена Ростовского стало рассматриваться царем как один из наиболее ярких примеров боярских «измен».

Следствие доказало, что князь Семен Ростовский, действительно, был изменником. Как показали его арестованные слуги, летом 1553 года он дважды встречался с литовским послом Довойной, с которым и была достигнута договоренность об отъезде в Литву. При этом боярин «думу царя и великого князя послам приказывал», то есть рассказал им о трудностях, которые переживало в это время Русское государство: «а царство оскудело, а Казань царю и великому князю не здержати, ужже ее покинет». Что касается его сообщников, князей Лобановых и Приимковых, то, как установило следствие, «те того... не ведали, только бежать хотели». Князя Семена Ростовского «с товарищи» приговорили к смерти и даже привезли к месту совершения казни, но затем, по «печалованию» митрополита и епископов, смертная казнь была заменена ссылкой на Белоозеро, где князя Семена заточили в тюрьму.

Во всем этом деле наибольший интерес представляют причины,

побудившие человека, принадлежавшего к высшему руководству государства (князь Семен Ростовский получил боярский сан летом 1553 года, незадолго до его встреч с литовским послом), и группу его знатных родственников пытаться отъехать в Литву, пожертвовав и своим имуществом, и высоким общественным положением.

Алексей Адашев, работавший в конце 50-х годов над официальным продолжением «Летописца начала царства», записал в нем признания князя Семена, что тот «хотел бежати от убожества и от маломыства, понеже скудота у него была разума». Царский советник не был заинтересован в том, чтобы предавать гласности обнаружившиеся в связи с делом князя Семена Ростовского разногласия в среде правящей элиты.

Приписки, сделанные при редактировании официальной летописи, напротив, дают известный материал для ответа на поставленный вопрос. Князь Семен Ростовский был недоволен тем, что «государь его и род его посылал (на службу. — Б.Ф.) не по их отчеству со многими с теми, кто меньше их». Эта несправедливость по отношению к Ростовским князьям, когда царь при военных и административных назначениях не хотел считаться со знатностью их происхождения, по убеждению князя, не была чем-то случайным; он рассматривал ее как часть политики, направленной против «великих родов» — княжеских семей потомков Рюрика и Гедимины, по праву претендовавших на первенствующее положение среди окружавшей трон знати. «Их всех, — говорил князь Семен, — государь не жалует великих родов, бесчестит, а приближает к себе молодых людей, а нас ними теснит». Как проявление той же политики, он готов был воспринимать и саму женитьбу царя на представительнице не княжеского, а старомосковского боярского рода: «да и тем нас истеснил ся, что женился у боярина своего, дочь взял, понял рабу свою, и нам как служить своей сестре».

Среди признаний Семена Ростовского на следствии были и такие, которые содержали новые сведения о событиях, происходивших во время царской болезни.

Во-первых, стали известны новые данные о подозрительной активности Владимира Андреевича Старицкого и его матери в эти дни. Они посылали к князю Семену с предложением, чтобы тот «поехал ко князю Володимеру служить да и людей перезывал».

Во-вторых, круг лиц, вовлеченных в обсуждение вопроса о судьбе трона и о том, как избежать регентства Захарьиных, оказался гораздо более широким, чем можно было судить на основании рассказов приближенных царю сразу после его выздоровления. Помимо князей Ивана Турунта-Пронского, Петра Щенятева, Дмитрия Немого-Оболенского в этих разговорах участвовали «Куракины родом, князь Петр Серебряный, князь Семен Микулинский и иные многие бояре и дети боярские и княжата». А главное — в свете других при-

знаний князя Семена Ростовского эти разговоры приобретали иной контекст. Разговоры о том, что «чем нами владети Захарыным, ино лутчи служить князю Владимиру Андреевичю», были выражением недовольства «великих» (княжеских) родов политикой царя, покровительствовавшего родственникам своей жены и кругу их друзей из среды старомосковского боярства.

Признания князя Семена, несомненно, усилили сомнения царя в лояльности своего окружения и способствовали росту скептического отношения к советам Сильвестра и Адашева.

По-иному реагировала на происходящее Боярская дума. Если говорить о притязаниях Старицких князей, то ближние бояре, как видно из рассказа о царской болезни, не имели к ним никакого отношения и готовы были вместе с царем предпринять меры, которые предотвратили бы подобные действия с их стороны в случае новой болезни (или смерти) монарха.

Когда в марте 1554 года у царя родился новый наследник, царевич Иван, Владимир Старицкий должен был принести присягу на верность не только новому наследнику, но и вообще любому из сыновей Ивана IV, который в будущем сможет унаследовать его трон. Старицкий князь обязывался: «А кто мя учнет с тобою, государем моим, и с твоим сыном ссорити, и мне того не слушати, а сказать ми то вам в правду без примышленья, а не утаити ми того от вас некоторыми делы». Так Владимир Андреевич должен был поступать даже в том случае, если «на которое лицо учнет наводить» его собственная мать. Особой статьей устанавливалось, что старицкий князь не может держать на своем дворе в Москве «всяких людей» свыше 108 человек.

Совсем иной оказалась реакция советников царя на те сведения о разногласиях среди правящей элиты, которые стали известны в ходе следствия по делу князя Семена Ростовского.

С конца 40-х годов правительство последовательно вело курс на консолидацию правящей элиты, на смягчение противоречий между ее отдельными группировками, на их привлечение к совместному согласованному участию в управлении государством. Этой политики правительство продолжало придерживаться и в дальнейшем. Никаких репрессий по отношению к князьям, родственникам князя Семена, не было предпринято, да и он сам, по-видимому, сравнительно недолго просидел в тюрьме и получил возможность нести службу в составе «государева двора», хотя и лишился боярского сана. Позднее, обращаясь к Курбскому, царь с негодованием писал, что после осуждения князя Семена «поп Селивестр и с вами, своими злыми советники, того собаку учал в велице бережении держати и помогати ему всем благими и не токмо ему, но и всему его роду».

Причина снисходительности заключалась в том, что «ближние бояре» рассчитывали добиться консолидации правящей элиты не с

помощью репрессий, а путем уступок «великим родам», устраняя те явления, которые вызывали их недовольство. О происшедших переменах нельзя узнать из официальной летописи, умалчивают о них в своих сочинениях и Иван IV, и Курбский. Лишь предпринятые сравнительно недавно В. Д. Назаровым и Р. Г. Скрынниковым исследования перемещений на важных государственных постах позволили составить представление об изменениях в жизни правящих верхов после 1554 года.

Наиболее значительные перемены произошли в положении главных представителей клана Захарьиных. С лета 1554 года Данила Романович Юрьев перестал исполнять обязанности дворецкого Большого Дворца, а затем и вообще утратил это звание. С конца 1554 года и Владимир Михайлович Юрьев утратил пост тверского дворецкого; в 1556—1558 годах он был воеводой в Казани, то есть фактически был отстранен от участия в управлении государством. Должность тверского дворецкого первоначально получил близкий к Захарьиным печатник (хранитель государственной печати) Никита Афанасьевич Фуников Курцов, но вскоре он попал в опалу и был надолго отстранен от участия в политической жизни. Близкий родственник Захарьиных, казначей Иван Петрович Головин, также к концу 1554 года утратил этот пост и был послан воеводой в Чебоксары. Одновременно в 1555—1556 годах состав Думы был пополнен представителями княжеских родов. Среди этих новых бояр были князь Андрей Михайлович Курбский, а также князь Андрей Иванович Катырев Ростовский, один из тех, кто собирался отъехать в Литву вместе с князем Семеном.

Разумеется, все эти перемены не могли произойти без согласия царя. К сожалению, мы не знаем, кто, как, с помощью каких аргументов сумел добиться этого согласия. Однако, с большой долей вероятности, можно предположить, что полные ожесточения отзывы царя о Сильвестре и Адашеве в его первом послании Курбскому, настойчивое изображение этих советников предводителями враждебных царю бояр объясняются тем, что именно Сильвестр и Адашев убедили царя согласиться на удаление тех его приближенных, деятельность которых вызывала недовольство знати. Так как все это касалось в первую очередь близких родственников царицы, то неудивительно, что в результате отношения Сильвестра и Адашева с Анастасией Романовной оказались безнадежно испорченными. В ее лице они получили врага, опасного своей близостью к царю. На обвинения в свой адрес советник и друг царя отвечали, судя по всему, обвинениями в адрес царицы. Не случайно позднее царь обвинил Сильвестра и Адашева в том, что они «на нашу царицу Анастасию ненависть zelnu воздвигше и уподобляюще ко всем нечестивым царицам». Все это должно было способствовать охлаждению отношений царя со своими наставником и фаворитом.

Рассматривая происходящее в исторической перспективе, следует отметить, что победа Сильвестра и Адашева в середине 50-х годов была Пирровой победой. Царь не был убежден в правильности принятого решения, согласился на него под давлением и со временем прониклся сочувствием к своим приближенным, отстраненным со своих постов. Об одном из них, Никите Афанасьевиче Фуникове, царь писал в 1564 году, обращаясь к Курбскому и другим враждебным ему боярам: «Что же о казначее нашем Никите Афанасьевиче (казначеем Фуников стал после опалы Сильвестра и Адашева. — Б.Ф.)? Про что живот напрасно разграбите, самого же в заточение много лет в далних странах во алчбе и наоте держали есте?» Все это было явным и тенденциозным преувеличением: сохранившиеся от второй половины 50-х годов документы, оформлявшие поземельные сделки Фуникова, говорят о том, что дьяк, отстраненный от участия в политической жизни, не находился в заточении и не пребывал в «наоте», но ясно, на чьей стороне были симпатии царя.

Дело, однако, далеко не ограничивалось личными симпатиями (или антипатиями) по отношению к отдельным лицам. Чем дальше, тем больше у царя стали вызывать недовольство некоторые стороны его отношений с Боярской думой во второй половине 50-х годов.

Симптоматичным в этом плане можно считать эпизод, как будто не имевший никакого серьезного значения, но привлечший к себе такое внимание царя, что он вспоминал о нем не только в первом, но и во втором послании Курбскому, написанном через двадцать с лишним лет после происшествия. Несмотря на некоторую неясность высказываний царя, можно с большой степенью вероятности установить, что именно вызвало такое беспокойство с его стороны.

Речь шла о споре из-за 150 четвертей земли между одним из князей Прозоровских и князем Василием Андреевичем Сицким. Оба они принадлежали к роду Ярославских князей, но князь Сицкий был близким родственником царской семьи (женат на родной сестре царицы Анастасии) и, по-видимому, представлял в этом споре интересы малолетнего (родившегося в 1557 году) младшего сына царя, царевича Федора. Ивана IV явно не удовлетворило то, что решение судей оказалось не в пользу его сына. («Для них, — писал царь, — Прозоровского полтораста четьи сына Федора дороже».) Еще более беспокоило его то, что бояре не допустили его выступать судьей в этом деле, а запрашивали у него (очевидно, как у ближайшего родственника истца) каких-то объяснений как у одной из сторон судебного процесса. Именно такой смысл имели высказывания царя, что его «хотесте судити про Сицково», что его «обыскивали, кабы злодея!»

Чтобы причины этого беспокойства были вполне понятны, следует сделать несколько замечаний о тех переменах в положении главы государства как верховного судьи, которые произошли в ряде европейских стран с формированием в них сословно-представитель-

ных монархий. Монарх и далее сохранял положение верховного судьи, но это не касалось споров о земле между ним и кем-либо из землевладельцев — феодалов. В этом случае правитель выступал как одна из сторон в судебном процессе, не располагая какими-либо особыми правами. В этих странах высший суд представлял собой особый орган, отличный от собственно правительства. В Русском же государстве середины XVI века, при общей нерасчлененности функций управления, функции и правительства, и верховного суда осуществлял один и тот же орган — Боярская дума.

Очевидно, что царь стал все более и более задумываться над целым рядом важных вопросов. На протяжении 50-х годов в государстве было осуществлено много преобразований, но усилили ли они власть государя, обеспечили ли ему верность и покорность его знатных подданных? Если для того, чтобы обеспечить лояльность подданных, ему пришлось пожертвовать верными советниками и отказаться от наказания лиц, причастных к делу о государственной измене, то каких жертв потребует обеспечение их лояльности в последующие годы?

Можно не сомневаться, что в этих размышлениях царь должен был соотносить то реальное положение, в котором он оказался во второй половине 50-х годов, с тем представлением о власти русского государя, ее природе и границах, которое сложилось в русской традиции к середине XVI века.